

Наталья Зими́на

Клятва пепла



18+

Наталья Зими́на

Клятва пепла

<https://litres.ru/74652664>

SelfPub; 2026

Аннотация

Раз в сто лет Велиград платит Тьме Долг света — одну невесту Князю Пепла. В этом году жребий выпал младшей сестре Мирры Вельской. Клятвоведка, которая зарабатывает разрывом чужих контрактов, подменяет сестру в ночь обряда и произносит формулу аннулирования — но на свитке Долга проявляется второе имя: её собственное. Подпись двадцать пять лет назад поставила мать, сгинувшая в пожаре. Теперь Мирра — невеста чудовища. До неё у него было семь невест. Все умерли. Все — из её рода. Единственное безопасное прикосновение между ними — её дар, который глушит запертого в Кассиане бога. Единственная правда, которая им обоим нужна, заперта в архиве Двора. Единственный человек, готовый её защитить, — тот, кто вписал её в контракт до её рождения. Тёмный фэнтези-роман о долге, который передаётся по крови, и о любви, которая начинается с вражды. Первая книга серии «Пепельный двор».

Содержание

Клятва пепла	4
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Клятва пепла

Клятва пепла

ГЛАВА 1. СПИСОК

Клятвы пахнут по-разному. Клятва верности — воском и мёдом. Торговая — чернилами, деньгами и чуть-чуть страхом. А клятва, которую принесли сегодня Мирре Вельской, пахла остывшим железом, мышами и чужим отчаянием — значит, писали её в подвале, при свече, и рука писавшего дрожала.

Контора Вельской стояла во вторых рядах торговых, между часовщиком, который не верил в вечность, и булочной, которая в вечность верила, но по разумной цене. Вывеска была скромная, по-ремесленному честная: «М. ВЕЛЬСКАЯ. КЛЯТВЫ: ЧТЕНИЕ, РАЗРЫВ, СОСТАВЛЕНИЕ». Составление стоило дороже всего, брались за него редко и не афишировали: составлять клятвы — ремесло по эту сторону закона, а вот читалось в городе всякое.

В приёмной, где пахло солью (рабочая соль — первый инструмент) и наглухо задёрнутыми шторами, сидели в очередь трое: солдатская вдова, приказчик с купеческой распиской и старуха, которая просто грелась — у Мирры разрешалось греться всем, это было единственное, что в конторе делалось даром.

— Читайте, — сказала Мирра и пододвинула контракт через стол.

Вдова Марты Дубовой, солдатки с Пряжильной улицы, читать не стала — знала наизусть. «Пока смерть не разлучит». Обычные слова, от которых у обычных вдов через год стираются сами. Но муж Марты был скорняком-самоучкой и колдовал над мерками, как курица над яйцом, — и вписал в брачную клятву свой жадный смысл: смерть его не разлучила. Умереть-то он умер, а клятву оставил сторожить при себе жену, её сон, её деньги и её право выходить из дома после заката.

Полгода Марта не спала. Полгода не выходила после заката. На седьмой месяц она продала серёжки и пришла к клятвоведке Вельской, у которой была репутация: берёт дорого, рвёт чисто, не задаёт вопросов про то, где клятва лежала и кто на ней спал.

— Семь с половиной марок, — сказала Мирра. — Половину сейчас, половину, когда уснёте.

— Говорили, пять, — тихо сказала Марта.

— Говорили — это чужая клятва. Своя стоит семь с половиной.

Марта отсчитала. Мирра заперла деньги в ящик, надела правую перчатку — рабочую, тонкую, без пальцев, — и левую, глухую, до запястья, которую не снимала при клиентах никогда, и развернула контракт на пустом листе соли.

Читать клятву — как читать узел. Сначала берёшь нить

за кончик и смотришь, где она живая. Живая часть у этой была короткая и злая, у самого слова «смерть»: там чернила чуть светились, там скорняк вплёл себя самого — свою ревность, свой страх остаться одному. Дальше узел шёл мёртвой петлёй, и мёртвую петлю можно было резать сколько угодно, хоть ножом, хоть слезами.

— Не смотрите, — сказала Мирра.

Марта отвернулась к окну. Мирра положила два пальца на светящееся слово и сделала то, что делала всегда, то, за что в Велиграде звали её лучшей, а за городские стены звали бы иначе.

Она взяла узел в себя.

Никакого искусства в этом не было. Искусство было в том, чтобы выглядеть так, будто ты развязала. Клятва прошла через пальцы холодом, потом жаром, потом — тем голодом, у которого нет названия, как у глотка воды нет вкуса, когда её не хватало весь день. Внутри что-то, жившее под рёбрами слева, довольно шевельнулось и свернулось.

Контракт на соли погас. Чернила стали просто чернилами.

— Всё, — сказала Мирра. — Сегодня поешьте горячего и ложитесь лицом к стене, чтобы не пугаться, если сон придёт слишком быстро.

— А... — Марта повернулась, держа шаль у горла. — А мне не надо ничего? Знак какой? Люда с Лосиной сказала, вы даёте знак от сглаза возврата.

— Люда с Лосиной много говорит, — сказала Мирра.

Она не врала. Она просто не говорила правду, а это разные ремёсла, и за второе не платят. Знаков от возврата не существовало, потому что возврата не существовало. Съеденное не возвращается.

Вдова ушла — быстрее, чем приходила, уже сонная на ходу. Приказчик с распиской подошёл было следующим, но Мирра подняла ладонь: перерыв. Расписка никуда не денется, расписки терпеливы, а у неё с утра было другое — то, о чём приказчик не знал и не должен был.

Старуха, гревшаяся у печи, сказала ей в спину, когда она мыла руки:

— Колóбка сегодня часто бил. Не к добру, госпожа клятвоведка. Не к добру бил — и в полдень опять будет.

За окном конторы ударил колокол на Ратуше — раз, другой, и пошёл частить, как частит колокол только по двум поводам: пожар и весть. Пожара не было: к Ратуше уже бежали, и бегущие не кричали, а молчали, и это было хуже криков.

Мирра вышла на крыльцо. Контора её стояла во вторых рядах торговых, и оттуда, с бочки, если заплатить мальчишке, было видно всё.

Она не стала платить. Она видела и так — чёрное, натянутое между колоннами Ратуши полотно, на котором писарь мелом выводил строки. Список. Тот самый, который в Велиграде за сто лет пишут однажды и который весь город приходит читать молча.

Долг света.

Так это называлось в хрониках, и так это объясняли детям: раз в сто лет Велиград платит. Не золотом — золоту Тьма не нужна. Невестой. Город отдаёт Князю Пепла одну девушку из старых родов — и следующие сто лет живёт без войны, без мора и без пожаров, потому что граница стоит, и стоит она на этой плате. Дед Мирры говорил, что помнит прошлый список, помнит и имя: Устинья Ветлицкая, семнадцать лет. Ушла в белом, говорили, сама. По улице пепел летел ей вслед вверх, против ветра, и ложился ей на плечи, как накидка.

Писарь дописал первую строку и отошёл.

Мирра прочитала имя с расстояния в сто шагов, как читают своё.

Ясна Вельская.

Сестра. Девятнадцать лет. Та, что красила ткани в синий и не умела врать даже чужим людям, — у Ясны было лицо, на котором всё написано, и Мирра всю жизнь любила и берегла это лицо, как берегут окно в светлое.

Она не помнила, как прошла сто шагов. Полотно было старое, топорное, из тех, на которых в неурожай считают очереди за мукой. Имя сестры стояло в нём одно — жребий в этот раз вытянул одну, из всех старых родов Велиграда одну, — и мел вокруг имени уже обвели чёрной рамкой, как обводят дату.

Город стоял вокруг молча и смотрел на имя, и никто не смотрел на Мирру, и это было милее всякого участия: в Ве-

лиграде умели читать списки и умели не читать тех, кто у списков стоит.

К списку был привешен конверт. Маленький, сургучный, с фамилией «Вельская», и писарь, не глядя, отдал его Мирре — по одной ей известной причине все в толпе расступились, хотя она не просила.

Домой она шла через город, и город закрывался ей вслед — не злобно, испуганно: ставни прикрывались по мере её прохода, как веки. Список уже прочитали. Имя уже знали. И фамилия на конверте была не Яснина.

Сургуч на конверте был тёмный, почти чёрный.

Мирра провела по нему подушечкой пальца — и палец отпрянул сам.

Печать была не из сургуча. И не из воска, и не из смолы, какие она знала все, потому что восемь лет зарабатывает чужими клятвами.

Печать была из крови. Застывшей, остывшей — но не холодной.

Она была ещё тёплая.

ГЛАВА 2. КЛЯТВОВЕДКА

Уведомление из Двора лежало на столе конторы, нераспечатанное, и пахло так, как пахнет погреб, в котором забыли нож.

Мирра сидела напротив него два часа и работала — потому что работа была единственным, что она умела делать с

ужасом. Пришли заказчики: старик, у которого купеческая расписка высасывала сны; две сестры, делившие отцовский долг так, что каждая тянула его на себя, чтобы вторая не платила; парень, на котором висела клятва найма в рудничную артель, — с рудников не возвращаются, и все трое это знают. Мирра рвала, брала плату, не врала про знаки и к вечеру знала точно три вещи.

Первое: конверт сам не откроется и сам не исчезнет.

Второе: у неё есть двадцать шесть дней — срок стоял в приглашении, которое принесли вместе со списком, — и двадцать шесть дней это много, если ты клятвоведка, и мало, если ты сестра.

Третье: Долг света — контракт. А всякий контракт имеет первооснову. Подпись, начертание, оговорку. Что-то, на чём он держится. Что-то, что можно найти, если знать, где лежит архив.

Утром она была у открытия Палаты записей — в первой трети очереди, с деньгами, с видом человека, которому надо всё по закону. Клерк за стойкой был новый, назначенный после праздников, и это её погубило: новый клерк ещё верил, что служит уставу, а не людям.

— Первокопия Долга света, — сказала Мирра. — По праву стороны, фамилия Вельские. Вот знак, вот деньги на снятие копии.

— Долг света не выдаётся, — сказал клерк. — Особый фонд.

— Особый фонд выдаётся сторонам. Я сторона: моя фамилия в списке текущего года.

— В списке текущего года значится Вельская Ясна, — сказал клерк, не поднимая глаз, и по тому, КАК он это сказал — заученно, не моргая, — Мирра поняла всё: приказ. Свежий, сверху, на её фамилию. Кто-то в городе уже проснулся и уже знал, что старшую Вельскую надо держать от бумаг подальше. — Приходите с сестрой, и вам выдадут.

— С сестрой, — повторила Мирра ровно.

— Так записано.

— Записано, — сказала Мирра. И поблагодарила. И ушла. По дороге отметила про себя два имени: того, кто записал (клерк — маленький), и того, кто велел записать (а это уже *interessantнее*: приказы на «не выдавать» в Велиграде подписывают в двух местах, и одно из них — префектура ордена).

Письмоводитель Бахтий — к которому она и зашла после Палаты, с кувшином кислых щей и видом, будто ей просто интересно, — выслушал, поохал, побряхтел и выдал то, ради чего она варила щи:

— Есть третий путь, — сказал он. — Маклеры. Пепельщики. Люди Двора в городе, ремесло такое: свести должника с кредитором, снять процент. У них допуск к реестру — дворянский, с правом внесения. Но пепельщик за просто так и чиха своего не продаст.

— А за непосто так?

— А за непосто так, барышня, они продают последнее,

— сказал Бахтий и посмотрел на её левую перчатку так, будто знал, что под ней. — Не ходите к ним.

Она пошла к ним на завтра.

Пепельщики в Велиграде сидели не в трактирах — в банях. Тепло, говорил Бахтий, им полезно: они всегда мёрзнут. В задней комнате бани на Гончарах, в пару, от которого у нормального человека выкипают глаза, сидел старик, маленький, сухой, в трёх тулупах, и мёрз. На груди у него висел знак — отлитая из серой меди ладонь, держащая уголёк. Младший знак пепельщика.

— Вельская, — сказал старик без вопроса. — Которая рвёт. Слышал. Садись, девка, только толку мало. Реестра я тебе не открою, допуск с меня спросят, а с меня и спросить-то нечего, я на дереве висю, как груша: что выросло, то и моё.

— Тогда продай своё, — сказала Мирра. — Что продаётся.

Старик посмотрел на неё долго. В бане было столько пара, что лица у него не было видно — только глаза, светлые и голодные, совсем не стариковские.

— Контракт у меня есть, — сказал он. — Один. Свой. Не посмотришь?

Он вынул из-за пазухи трубку — не курительную, костяную, оклеенную серым воском, и в этом воске, как муха в янтаре, сидела капля крови. Мирра взяла трубку двумя пальцами и прочитала за то время, пока пар оседал.

Коротко это было так: тридцать лет назад старик, тогда

ещё не старик, купил себе у Двора жизнь. Не бессмертие — жизнь: тридцать тёплых лет, мимо которых бы не прошёл, — а платой вписал остаток. Тело, после конца. Службу после смерти, сколько Двор скажет. Такие контракты назывались «второе дыхание», и брали их отчаянные, и Мирра всегда считала, что отчаянные правы: мёртвым всё равно, а живым нужны годы.

Тридцать лет выходили в этом месяце.

— Срок, — сказала она.

— Срок, — согласился старик и улыбнулся ей из пара. — Потому и мёрзну, девка. Он уже во мне ходит, собирает. По ночам слышу: скрипит, как пол под чужой ногой. Я к тебе не за тем пришёл, чтобы рвать. Такой не рвётся, сам видишь, узел мёртвый, вся нить живая, с самого конца до начала. Я к тебе за другим.

Он наклонился через стол, и пар расступился от его дыхания, как от большого зверя.

— Возьми знак мой, когда я кончуся. Младший знак даёт допуск к реестру, до самых Пепельных ворот дойдёшь как сторона по делу. А взамен — сделай одно. Когда дойдёшь до него, до Князя твоего, до Пепельного, — голос старика стал тише и чище, — скажи ему: долг созрел.

— Он тебя и так получит, — сказала Мирра. — Контракт сам сработает.

— Не про мой это долг, девка.

Ей стало холодно — в бане, в тридцать тулупов чужого

жара, ей стало холодно, как в ту ночь двадцать пять лет назад, и она уже знала, что скажет сейчас старик, ещё до того, как он открыл рот, потому что так устроены страшные слова: их слышишь дважды.

— Про твой, — сказал старик. — Скажи Князю: долг созрел. Он поймет. И запомни, девка: когда он спросит про имя — а он спросит, он всегда спрашивает, у них это первая молитва, — солги. Как твоя матушка не солгала, ты солги.

Стол треснул.

Не удар, не грохот — короткий сухой треск, как ломается лёд на реке, когда под ним проходит что-то большое. Мирра отшатнулась, и пар в комнате встал стеной, и в этой белой стене старик улыбнулся ей в последний раз — легко, как человек, доехавший наконец до тёплых краёв, — и осыпался.

Не упал. Осыпался — весь, разом, тулупы, глаза, голодный свет в них, — серым прахом на пол, в пар, в щели половиц. Костяная трубка контракта осталась у Мирры в пальцах, пустая: воск разошёлся, капля крови ушла. Пустой осталась и серая ладонь знака на верёвке — старик снял его с шеи заранее и положил перед ней, аккуратно, заранее.

На рукаве у Мирры, на сером сукне, лежала горсть его пыли.

Она не смахнула её. Не из уважения — рука не поднялась. Рука вообще не слушалась, и левая, глухая перчатка вдруг стала горячей, как в ту ночь, и под рёбрами слева то, что жи-

ло там и всегда было сыто чужими клятвами, — то проснулось и потянулось к праху, к трубке, к знаку, к дверям бани, за которыми начинался путь до самых Пепельных ворот, — с таким голодом, что Мирра вышла вон, в мороз, и стояла там, пока не стала сама собой.

«Когда он спросит про имя — солги».

Она не успела спросить, какое имя он имел в виду и почему матушка.

Старик рассыпался раньше.

ГЛАВА 3. ЗАПИСКА

Дом Вельских стоял на Кожевенном спуске, третий от конца, с деревянными глазами-ставнями, и всю жизнь Мирре казалось, что дом этот что-то знает и молчит. Сейчас он молчал особенно выразительно: ставни были закрыты, хотя до заката оставалось три часа, и от калитки до двери шёл свежий снег чужих следов — маленьких, лёгких, шагов сорок на одном месте. Ясна ходила по двору кругами. С ней бывало.

Сестра сидела в горнице на сундуке матери, в её — не в свой — синей шали, и руки у неё были красные: она красила и красила кусок полотна в чан, стоявшем во дворе, в тот же синий, десятый раз, и полотно уже не брало краску, и она это знала, и красила.

— Ты видела список, — сказала Ясна, не оборачиваясь. — Я так и поняла по твоим сапогам. Ты ходишь по грязи, когда злишься, а по снегу — когда боишься.

— Я не боюсь.

— Ты заикаешься, когда врёшь, — сказала Ясна. — Ты заикалась. Один раз, на «не». Хотя я и сестра тебе, а не глухая.

Дом помнил их маленькими. Мирра помнила саму себя лет пяти, сидящей на этом сундуке, — тогда он был не тяжёлым горем под окованным железом, а кораблём, и мать сидела рядом на низенькой скамеечке, и заплетала им с Ясной косы — на два голоса, в четыре руки, потому что одной ей было не управиться, а они хихикали и портили плетенье, и мать говорила: не ёрзайте, узелки пойдут кривые, а кривые узелки — плохая примета для девочек из старых родов. Тогда это была просто присказка. Теперь Мирра знала цену этим словам по реестру — восемь лет практики умели поворачивать детские присказки любой стороной.

Мирра села рядом. Сундук был окован железом, холод прошёл сквозь юбку — сундуку было двадцать пять лет, как не открывался, с той ночи, и в нём, под слоем материнского платья, лежали бумаги, которые Мирра не трогала восемь лет, с тех пор как получила право на наследство. Тогда она искала завещание и долг за похороны. Сейчас она искала другое, и сама знала — что.

Сундук открылся со скрипом, узнавшим её руки.

Платье матери пахло кедром и — слабо, последним слоем, который не выветривается никогда, — горелым шёлком. Под платьем лежали: метрики двух дочерей, обручальное кольцо

с камнем чёрным, как запечатанный глаз, узелок сухой морошки — материнской, — и записка.

Записка была не бумажная. Тканая, шёлковая лента, какие вплетают в косы, и слова на ней были не написаны, а вытканы, буква к букве, как ткут только в одном городе и только один род мастеров, которого давно нет.

«Если он придёт за именем — солги».

Мирра не видела почерка матери — мать не писала ей писем, не успела, — но узнала эти буквы сразу, узнала, как узнают лицо. И от этого узнавания внутри стало пусто и гулко, как в бане, где осыпался старик.

— Что там? — спросила Ясна.

— Ничего, — сказала Мирра, и на «ни-ни-ничего» сестра вздрогнула, и они обе услышали заикание, и обе сделали вид, что не слышали.

— Мир. — Ясна взяла её за правую руку, рабочую, без перчатки, ту, которой та бралась за чужие клятвы. — Скажи мне, как есть. Двадцать шесть дней. Потом ворота, потом он. Я видела, что делают с городами, которые не платят, — я же читала хроники, мы вместе читали, мне двенадцать было, тебе тринадцать, ты мне глаза закрывала на страницы про восточные графства. Не закрывай сейчас. Я пойду. Я решила. Я не храбрая, я трусиха, я с крыльца голову кружу, — голос Ясны дрогнул и выровнялся, как у матери, — но я не отдам им тебя. Уведомление на моё имя. Имя я не подписывала и ты не подписывала. А что подписали до нас — про то пусть

сами с небом разбираются.

Мирра смотрела на сестру и молчала.

За стеной хлопнула калитка — три раза, спокойно, по-хозяйски, и голос с двора сказал:

— Открывайте, свои. Северин.

Инквизитор Света Северин Ветлицкий входил в их дом, как входил всю жизнь: стуча, но не дожидаясь ответа, принося либо воду, либо беду, чаще и то и то. Сейчас он принёс беду: орден знал о списке через час после Ратуши, и Северин, белый, пахнувший нагретым металлом, с обручением-полукольцом на шнурке — старая помолвка двух родов, его и их, из тех, что родители плетут детям на шею, а дети носят из вежливости, — встал на пороге горницы и увидел открытый сундук, ленту в руках Мирры и лицо Ясны.

— Список — осквернение, — сказал он. — Так сказал префект. Так скажет капелла в воскресенье. Орден не позволит увести девушку этого города за ворота, Мирра. Я не позволю. Я подал рапорт о вступлении ордена в дело — ходатайство о защите лица до выяснения природы договора. Если Двор попытается применить силу, у нас есть мечи, у нас есть свет и есть закон о неприкосновенности крещёных.

— У вас есть костры, — сказала Мирра. — Про восточные графства тоже читали, Северин. Что стало с городами, которые орден «спасал» от Долга. Полгода войны. Три пожара. И невеста — «святая», в самом лучшем случае.

— Это было сто лет назад и не наш префект.

— Море было сто лет назад и не наш берег, а топит по-прежнему.

Они смотрели друг на друга. Восемь лет дружбы, одно общее детство, одна на двоих старая помолвка — и этот новый, свежий свет в его лице, который она не узнала: он больше не спорил с ней. Он был согласен с ней внутренне, весь, до последнего волоса, — и всё равно стоял на своём, и это было в нём самое страшное и самое Севериново.

— Не делай ничего до воскресенья, — сказал он уже в дверях. — Дай ордену неделю. Я выторгую вам неделю, я умею торги, меня для того и держат при префекте. Неделю, Мир. А потом — что угодно. Хоть сам понесу Ясну на руках за ворота, если иначе — война. Но неделю.

Калитка хлопнула. Снег на дорожке принял его шаги и затянул их новым.

Ясна сидела там же, на сундуке, и молчала.

— Он любит тебя, — сказала она наконец. — Смотри, шаль тебе принёс в прошлый раз, а положил тебе, а не мне. Сорок шагов нёс и положил тебе.

— Я знаю, — сказала Мирра.

Она смотрела на ленту. «Если он придёт за именем — соли». Двадцать пять лет назад мать выткала это и ушла в огонь. Или — не ушла. Пепельщик знал про мать. Пепельщик сказал: «долг созрел» — и рассыпался с улыбкой. В Палате записей лежит первокопия, до которой не достучаться. У неё на столе в конторе лежит тёплая печать из крови, се-

ребряный знак на верёвке и двадцать шесть дней.

И ещё у неё есть то, чего нет ни у ордена, ни у города, ни у самой Ясны: формула.

Древний разрыв, инициаторный, который в практике не применялся, потому что применять его приходилось в лицо кредитора. Мирра выучила её в девятнадцать, из озорства, из спора, из любви к мёртвым языкам — сорок слов на языке, на котором не говорят, потому что на нём договариваются. Слова ещё помнили её рот.

Сестра уснула за стеной на рассвете, наконец-то, красные руки на одеяле. Мирра сидела в конторе при свече и ткала формулу по слогам, как ткала мать свои ленты, — медленно, буква к букве, чтобы ни одна не съехала. На двадцать девятом слове свеча оплыла, и она заправила новую.

Формула была готова к полуночи.

В дверь постучали.

Не так, как стучат люди — костяшками, сверху вниз. Так стучит тело: мягко, всей плоскостью, дважды. Потом — в третий раз, и дверь на этот раз прогнулась внутрь, и медь петель коротко запела, и с потолка посыпалась побелка.

Снаружи не было шагов.

Мирра погасила свечу двумя пальцами, взяла знак пепельщика и ленту матери и сказала темноте — спокойно, как говорят с клиентами:

— Вошла. Дверь не заперта.

ГЛАВА 4. ПОДМЕНА

Дверь открылась сама — внутрь, против скрипа, без скрипа.

На пороге стояла ночь, а в ночи — гость. Он был сложен как человек, но соразмерности были чуть сдвинуты: выше на голову, чем любой из знакомых Мирре мужчин, плечи слишком ровные, и пальцев на руках, лежавших на притолоке, было по шесть, и все — в тонких перстнях, серых, как зола на снегу.

Лица при свете луны было не разобрать. Мешал пепел. Он не падал с гостя — он стоял вокруг него, мелкий, сухой, неподвижный столб, как стоят мошки над водой в безветрие, и в этом столбе лицо читалось только до подбородка.

— Вельская, — сказал гость. Голос был низкий, с той тишиной под ним, какая бывает подо льдом. — Старшая или младшая?

— Старшая, — сказала Мирра. Ложь прозвучала ровно: она не врала. Вопрос был не тот.

— Неправильный ответ, — сказал гость. — Но записан.

Он не вошёл — оказался в комнате, у стола, не оставив на полу снега. Пепел столбом перетёк с ним. На столе, поверх формулы, из его ладони — шестипалой, серой от ногтя до запястья — легла бумага: чёрный конверт с одной строкой, выведенной так, будто буквы вырезали.

«Ночь гаснувшей луны. Три дня. Ворота узнают невесту по вуали и по крови. Долг примет Князь».

— Три дня, — сказала Мирра. — В уведомлении было

двадцать шесть.

— Долг созрел, — сказал гость, и столб пепла вокруг него качнулся, как качается вода в ведре, когда мимо проходит кто-то большой. — Младший знак при тебе. Реестр открыт тебе днём. Вечером ты принадлежишь сроку. Передай руку и знак тем, кто придёт за невестой, или не передавай — ворота разбирают, кто чем пришёл.

— Двадцать шесть дней, — сказала Мирра. — В уведомлении было двадцать шесть.

— Уведомление писал писарь, — сказал гость. — Срок пересчитал Двор. Долг не читает календарей, госпожа: когда долг созрел, он зреет три дня, как нарыв, — и либо его вскрывают, либо он вскрывается сам. У тебя было двадцать шесть бумажных дней. Осталось три настоящих. Пересчёт уже записан — чернила сходятся.

Он говорил и смотрел мимо неё — на стол, на черновики формулы, на соль, на то, как она живёт. Взгляд у него был ровный, служебный, и от этого хуже: так смотрят не враги — ревизоры.

— Двадцать девятое слово, — сказал он вдруг, не в тему вопроса. — У тебя опечатка на двадцать девятом слове. Из-за неё твоя формула не разорвёт и банного паука. Я бы на твоём месте переписал. — И добавил, уже из пепла, из-за спины: — Перепишешь — приходи. Посмотрим вместе, куда

бьёт та, что без опечатки.

— А если не пущу никого? — спросила Мирра. — Если запру сестру и подам на пересмотр жребия? У города есть обычай выкупа. Я найду сумму.

Гость молчал. Пепел над его плечами медленно поворачивался, будто что-то выбирая.

— Ты спросила, чтобы услышать ответ, или чтобы я услышал твой? — сказал он наконец.

— Второе, — сказала Мирра.

— Тогда я передам, — сказал гость. — Ему понравится. Он любит, когда мясо разговаривает.

Столб пепла осел. На полу, там, где он стоял, не осталось ни пылинки — только кружок чистых досок, и доски в этом круге были старые, тёплые, живые, как будто под ними кто-то спал и ему снилось лето. Гость ушёл не в дверь — в неё, сквозь, как проходят в воду.

Мирра стояла посреди конторы до рассвета, держа ленту матери так, что побелели пальцы правой руки, — левой, в глухой перчатке, она прижимала её к груди.

Наутро она отправила Ясну в Загрядье, пригород, к красивому двору — «заказ большой, сине-белое к весеннему, ткани надо варить в их воде, одна ты знаешь, что за вода». Ясна уехала до зари, счастливая от дела, обняв на прощание, шепнув: «неделя, Мир, он выторгует нам неделю».

Час спустя Мирра вынесла из дома и сожгла в печи всё, что могло выдать подмену: свою, старую, рабочую одежду,

серое сукно с рукавом, где остался чужой прах, — и осталась в сестрином: синей шали, сапогах с лёгким голенищем, лицом к зеркалу, к тому, что было на нём написано.

Лицо у Мирры Вельской было написано не всё. Ясна — та была книга, раскрытая на ветру. Мирра была книга, напечатанная на серой бумаге мелким шрифтом, без титула и выходных данных, — и покупатели клятв ходили к ней именно за этим. Сходство у сестёр было родовое, костяное, и на расстоянии, под вуалью, в сумерках гаснущей луны его хватило бы на экзамен.

А крови в списке не было — было имя. Имя Ясны. И если ворота «узнают невесту по вуали и по крови», то надо быть очень глупой, чтобы тащить сестру к воротам и проверять, чью кровь они имеют в виду.

Мирра надела вуаль.

Ей принесли её те же, кто принёс уведомление: три женщины в серых плащах, без лиц под капюшонами, без шагов на снегу, и принесли не свадебное — траурно-белое, простое, как полотно, из которого ещё не сшили ничего. Они одели её молча, и ни одна не спросила ничего, и, когда одна поправляла вуаль, у той из рукава выглянула кисть — серая, с шестью пальцами, и шестой был безымянный, и на нём сидело кольцо.

У ворот города стояли санки — не карета, не возок: санки, длинные, чёрные, без кучера, запряжённые тем, что было похоже на двух быков, если бы быки умели стоять непо-

движно, как вещи. Город провожал её из окон. Никто не вышел. Ставни прикрывались по мере того, как санки проходили улицу, — медленно, как глаза, которым больно смотреть.

Только на углу Кожевенного стоял, не прячась, мальчишка-водонос, лет восьми, и, когда санки поравнялись с ним, он поклонился — не по-детски глубоко, в пояс, так кланяются покойникам, — и Мирра услышала сквозь шерсть плаща, как он говорит тихо-тихо, одними губами, не ей — санкам: — Спасибо, госпожа.

За его спиной, в проёме между домами, на одну секунду встал белый — Северин, с обнажённым мечом, с лицом, на котором всё было написано, как у Ясны. Он не двинулся с места. Орден выторговал свою неделю, и он стоял, привязанный к ней, белый столб, и смотрел, как её везут.

Мирра смотрела прямо, под вуалью, и держала в правой руке — под полотном, у бедра — сорок слов разрыва, вытканых накануне в память, и в левой, в глухой перчатке, ленту матери: «солги».

Дорога за город шла вниз, к реке, и через реку — по льду, и лёд под санями пел, тонко и вежливо, как поёт стекло, к которому приложили губы. На том берегу начинался пепел. Он лежал по колено, ровный, серый, нетронутый — ни следа зверя, ни птицы, ни ветра, — и санки шли по нему, не оставляя колеи, и небо над этой стороной было ниже обычного на одну ладонь, и в нём не было звёзд, только ровный свет, как от скрытой луны.

Пепельные ворота стояли в поле одни — не стена, не башня: двое ворот, собранных из чёрного чугуна и пепла, которые держали друг друга. Перед ними санки остановились сами.

Ворота были открыты.

За ними не было двора, не было сада, не было ничего, на что можно смотреть и сохранять рассудок обычным способом, — за ними была дорога, по обе стороны которой стояла тишина, и по этой дороге навстречу саням шёл тот, кто ждал.

Мирра увидела его издали и подготовилась — так, как готовятся к удару: собралась, вдохнула, назвала про себя все его приметы, чтобы не испугаться размеров.

Приметы кончились быстро. Рост — много выше человеческого. Плечи — как у тех, кто носит на себе ворота. Лицо — мужское, молодое и слишком спокойное для той силы, что стояла в плечах; спокойное, как закрытая книга в языке, которого ты не знаешь. Глаза — светло-серые, без дна. И руки.

Руки были спрятаны в чёрные перчатки до локтя, и перчатки были не одеждой. Они были частью того, что называлось Князем Пепла, и Мирра, восемь лет читавшая любые узлы на любом свете, прочитала эти перчатки сразу и с первой попытки, потому что такие узлы не читают — их признают, как признают приговор по походке судьи: под чёрным была не кожа. Под чёрным было то, за чем приходят клятвы.

Он остановился в трёх шагах, взялся одной перчаткой за край вуали — вежливо, как берутся за страницу, чтобы пе-

ревернуть, — и повернул её вбок.

Вуаль спала.

Тишина на дороге была полная, и в этой тишине Князь Пепла смотрел на лицо Мирры Вельской так долго, что пепел вокруг них успел лечь — весь, до последней пылинки, — ровным слоем, как ложится снег, когда метель кончается сама собой.

Потом он сделал вдох.

И сказал — голосом, от которого у неё, у старшей, у серой книги мелким шрифтом, у той, что не боялась ни узлов, ни подвалов, ни ордена, впервые за двадцать четыре года дрогнуло что-то под рёбрами слева, там, где жил голод:

— Опоздала.

Пауза была вежливая, короткая и бездонная, как колодец в два кирпича шириной.

— На двадцать пять лет.

ГЛАВА 5. РАЗРЫВ

— Повтори, — сказал Князь Пепла.

Это было первое, что он сказал после «на двадцать пять лет», и голос его не изменился — он просто стоял в трёх шагах и ждал, как ждут эха.

Мирра не повторила. Повторяют просящие. Она сделала шаг в сторону — медленно, по кругу, как ходят вокруг чужого узла, — положила левую руку в глухой перчатке на край саней и достала из-под полотна правую, пустую, и пока Князь не двинулся (а он не двинулся — он следил за ней, как сле-

дят за пламенем свечи, которую решили не тушить, пока сама не догорит), она собрала себя всю, до дна, как собиралась в девятнадцать лет, когда училась, и произнесла.

Сорок слов на языке, на котором не говорят, потому что на нём договариваются, — это не речь, это скорее шов: слова ложатся поверх мира и стягивают его края, и то, что было соединено, расходится. Мирра вела их по памяти, по слогам, как выткала накануне при свече: первые двенадцать — имя должника, она взяла имя сестры и держала его перед собой, как держат фонарь. Вторые двенадцать — имя кредитора. Она посмотрела на Князя и назвала его — не то имя, под которым его знал город: настоящее, то, что стояло под чёрными перчатками, как стоит вода подо льдом, и которое она увидела, едва вуаль спала.

Глаза у него не расширились. Они сузились — чуть, на ширину лезвия.

Последние шестнадцать слов — само требование. Долг назвать. Долг показать. Долг — разорвать.

Язык, на котором не говорят, потому что на нём договариваются, устроен просто: в нём нет лишних слов, потому что каждое — вес. Сорок слов такой формулы весят больше, чем человек, и Мирра чувствовала этот вес, пока говорила: язык тянул из неё, как тянет глубокая вода, и платил тем, что делал её речь — правдой. На этом языке нельзя соврать: соврёшь — формула возьмёт своё с лжи, и это будет дороже.

Между ними ударил ветер — без ветра.

Дорога перед санями вспухла, пепел встал стеной в рост человека, и в этой стене, как в чёрном зеркале, проступило письмо. Оно не возникало строка за строкой — оно проявилось всё сразу, целиком, так проявляется то, что было написано всегда: огромный, в полнеба, свиток, исписанный рукою, которую Мирра не видела ни разу в жизни и узнала в первое же мгновение — по наклону букв, по той ткани, по тому самому узору, каким была выткана лента в её левой руке.

Долг света. Первокопия. Та самая, из Палаты записей, до которой не достучаться, — вот он, развёрнутый в пепле, до последней запятой.

Мирра прочла его за один вдох — умела, восемь лет практики: город платит, жребий, невеста, срок, печать, Князь. Всё как в хрониках. Всё как учили. Всё — кроме одной строки.

Под свежей строкой жребия — «Ясна Вельская, девятнадцати лет, кровью города избранная» — лежала другая. Старая. Написанная той же рукой, что и весь свиток, но раньше, на четверть века раньше, и чернила этой строки не светились, как свиток, — они горели ровно и негромко, как горят угли, которым не нужен огонь.

«Мирра Вельская, года от роду, кровью матери вписанная».

И ниже — подпись. Не имя. Подпись: знак, которым под-

писываются кровью, — короткий, из двух росчерков, похожий на птицу, летящую вниз. Мирра знала этот знак. Он стоял на её метрике, в графе «мать», поставленный когда-то чернилами: тот же самый, только здесь он был тёмный, вспухший, живой.

Формула ещё висела в воздухе — сорок слов держались между Миррой и свитком, и она чувствовала их, как чувствуют собственные руки: требование работало, свиток был назван, долг был показан. Оставалось последнее — разорвать.

Мирра потянула.

Узел не поддался. Он был не узел — он был берег: она тянула, а он стоял, и стоял не потому, что был крепче её. Он стоял, потому что она тянула не ту нить.

Свиток в пепельной стене шевельнулся. Свежая строка — «Ясна Вельская» — отделилась от пергамента, взлетела вверх клочком пепла и истлела: невестой больше не была Ясна. А старая строка — её строка — вспыхнула ярче и легла поперёк всего свитка, от края до края, как лечит трещину худшая из жил.

Долг перечитал себя вслух. Это было не звуком — это было так: пепел вокруг саней улёгся в одну длинную строку букв на земле, и буквы сложились в одну фразу, и фраза прошла по полю от ворот до реки и обратно, безголосая:

«Невеста вписана. Невеста пришла сама. Долг принимает».

— Нет, — сказала Мирра. Слово вышло тихо и ровно, и на «н-н-нет» она услышала сама своё заикание, и это привело её в ярость больше, чем всё остальное. — Нет. Формула... формула права, я всё сказала правильно, я всё сказала правильно, свиток, ты...

Она не договорила, потому что стена пепла осыпалась.

Свиток погас — не исчез, а сложился, весь, от полнеба до размеров обычного листа, и лист этот спланировал вниз и лёг Князю Пепла в подставленную чёрную перчатку. Он взял его, как берут счёты у ребёнка, который ещё не умеет считать.

А потом он сделал то, чего Мирра не ожидала ни от кого, кто носит на себе ворота, — тем более не ожидала от того, у кого под перчатками то, за чем приходят клятвы.

Он протянул ей свиток.

— Дочитай, — сказал Князь Пепла. — Ты читала до строки со своим именем. Там есть ещё пол-аршина. Твоя мать писала длинно.

— Ты знал её.

— Дочитай.

Мирра взяла лист. Пальцы не дрожали — она велела им не дрожать, и они послушались, они всегда слушались, кроме тех случаев, когда она лгала. Она перевернула лист. Пол-аршина внизу было исписано тем же материнским почерком, теснее, мельче, как пишут в конце, когда пергамент жалко, а сказать надо всё.

Она читала при свете, которого не было, — свиток светился сам, ровно и негромко, как угли.

«Долг берёт одну. Долг должен взять одну и отпустить остальных на сто лет. Если долг возьмёт не ту, он возьмёт всех».

«Я вписываю старшую, пока город вписывает младшую. Пусть придёт за мной, если сможет. Если не сможет — пусть простит».

«Мирра. Если ты читаешь это, ты пришла сама, и я ошиблась во всём, кроме одного: в тебе. Не разрывай свиток. Он держит не тебя. Он держит то, что в нём».

Последняя строчка была поперёк, крупно, как пишут, когда время кончилось:

«Не верь его рукам после заката и не смотри, когда он снимет перчатки. И солги, дитя. О имени. О моём. Солги».

Мирра подняла глаза.

Князь Пепла стоял и смотрел на неё поверх свитка, и в свете его собственных углей глаза его были не серые, как ей показалось в первый раз, а прозрачные — как бывает прозрачным лёд над чёрной водой, когда знаешь, что под ним глубина, и знаешь, что там, внизу, что-то смотрит вверх.

— Она пришла за тобой через двадцать пять лет? — спросила Мирра. — Или ты пришёл за ней?

— Неправильный вопрос, — сказал он. И, помолчав, добавил — первым движением за весь вечер: он чуть склонил голову набок, как слушают не собеседника, а то, что за спи-

ной собеседника. — Но записан.

— Что это значит?

— У Двора хорошая память, — сказал Князь Пепла. — Она записывает всё. Неправильные вопросы, правильные, твоё «нет» с заиканием на первой букве — записано, не обольщайся, здесь заикаются все, кто впервые. Тебя зовут Мирра. Тебя звали Миррой до того, как город называл Ясну. Свиток знает. Ворота знают. Я — я знал первым.

Он не договорил.

Изнутри его — не из груди, изнутри всего, из земли под ним, из дороги, из врат за его спиной — вышел звук: короткий, низкий, на самой границе слышимого, как скрипит лёд, когда под ним проходит то самое, большое. Пепел у него под ногами шевельнулся — не упал, не взлетел, просто шевельнулся, как шевелится кожа на спине зверя, которого окликнули.

Князь Пепла замолчал и стал слушать.

Это было страшнее всего, что уже случилось, потому что до этого он был хозяином всего, что происходит, — а теперь он стоял и слушал, как слушают стук в дверь, зная, что за дверью никто не стучал.

— Он проснулся, — сказал он наконец. Спокойно. Почти скучающе. И это «почти» было худшим «почти», какое Мирра слышала в жизни. — Он слушает твоё имя. Он его... помнит.

— Кто — он?

— Тот, кого я держу, — сказал Князь Пепла. — Ты пришла рвать контракт? Прекрасно. Рви. Формула правильная, я проверял — триста лет назад, она у меня в любимых. Она разорвёт всё, что угодно, кроме одного: долг, в котором твоё имя лежит под чужим, не рвётся снаружи. Только изнутри. Только тот, кто вписан.

Он снова протянул ей свиток — теперь не для чтения. Просто держал его между двумя перчатками, как держат пластину, за которой огонь.

— Добро пожаловать домой, Вельская, — сказал Князь Пепла. — Ты — сторона.

ГЛАВА 6. ПЕПЕЛ

Домой.

Слово было выбрано так точно, что Мирра физически почувствовала его, как толчок под рёбра — слева, туда, где жил голод. Она стояла в поле, у Пепельных ворот, в белом несвадебном, с мёртвым свитком Долга в руках, в сумерках без звёзд, между санями без кучера и существом без возраста, и слово «домой» входило в неё со всех сторон, не спеша.

— Нет, — сказала она. — Дом — это Кожевенный спуск, третий от конца. Дом — это сестра, красильный чан и сундук. Я приехала по делу. Дело закрыто: долг не мой, я не...

— Вписана, — сказал Князь Пепла. — С года от роду. Кровью матери. Ты хочешь сказать «не по своей воле»? — Он сделал паузу, и в паузе где-то очень далеко, за воротами, скрипнул лёд. — Здесь все так начинают. Это хорошая воля.

С неё начинаются лучшие контракты.

— Я не контракт.

— Ты в контракте, — сказал он. — Это хуже. Контракт можно выкупить. Позицию — нет.

— Тогда я подам на пересмотр. У Двора есть суд...

— Двор и есть суд.

— ...есть же третий арбитр. Орден. Городская палата. Церковный трибунал, в конце концов, я знаю канон, я...

— Трибунал, — повторил Князь Пепла, и впервые за вечер в его голосе появилось что-то похожее на интерес, — уже послал письмо. Оно лежит в моей библиотеке, в разделе «Прошу вернуть девушку, иначе». Таких писем сто девяносто четыре. Хочешь прочесть своё? Оно хорошее. С печатью. Печать, кстати, тоже из крови — у вас это, кажется, модно.

Он говорил — ровно, без насмешки в голосе, и от этого выходило вдвое обиднее. Мирра молчала и делала то, что умела делать лучше всего на свете: читала. Она читала его — по стойке, по неподвижности, по тому, как он держал плечи (как ворота, которые держат друг друга), по тому, чего в нём не было (усталости, торопливости, злости на неё — злости на неё не было совсем), — и узор складывался странный.

Он не торжествовал. Взятый в собственный контракт человек, получивший невесту сверх счёта, — торжествует. Он не желал её присутствия — он его... ждал. Долго. Так ждут добычу: так ждут поставку, от которой работает всё остальное. Он был не охотник у ловушки. Он был мастер у горна,

которому наконец принесли деталь.

Это Мирре не понравилось больше, чем понравилась бы злость.

— Что ты держишь, — спросила она. — В себе. Кто он.

— Плохой вопрос, — сказал Князь Пепла. — Хороший был про мать. Плохой — про него. Никогда не спрашивай про него вслух: он отвечает только вслух, а тебе не понравятся его цены.

— Мне не нравятся уже твои.

— Мои ты ещё не слышала. — Он повернулся к воротам — медленно, всем корпусом, как поворачивается то, что повернуто частями: сначала плечи, потом остальное. — Иди за мной. Между нами — три шага. Не два и не четыре. Это не церемония, это техника безопасности.

— Серые — твои, — сказал он по дороге, между делом, как говорят о погоде. — По контракту вся прислуга Двора следует за невестой, вместе с домом и садом. Хочешь — завтра будут звать по именам, все до единого, я подниму реестр. — Он помолчал и добавил: — Не надо, кстати. Имена у них отработаны до последнего. Должникам хватит должностей.

— Если ты думаешь, что я...

— Мирра Вельская, — сказал он, не оборачиваясь, и от её имени в его устах у неё похолодели кисти рук, — в двадцати шагах отсюда, на дороге, стоит сестра твоего монастырского воспитания в белом плаще с обнажённым мечом и решает,

не ударить ли ему мне в спину. Он ударит. Он не сможет не ударить — он обещал городу. Если он ударит, я сломаю его руку по локоть. Не потому, что захочу, — потому, что так устроены мои перчатки: они отвечают раньше, чем я. Если ты хочешь, чтобы до этого не дошло, — иди за мной. Между нами три шага. Обсудим твои «если» внутри. Там, по крайней мере, тепло.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.